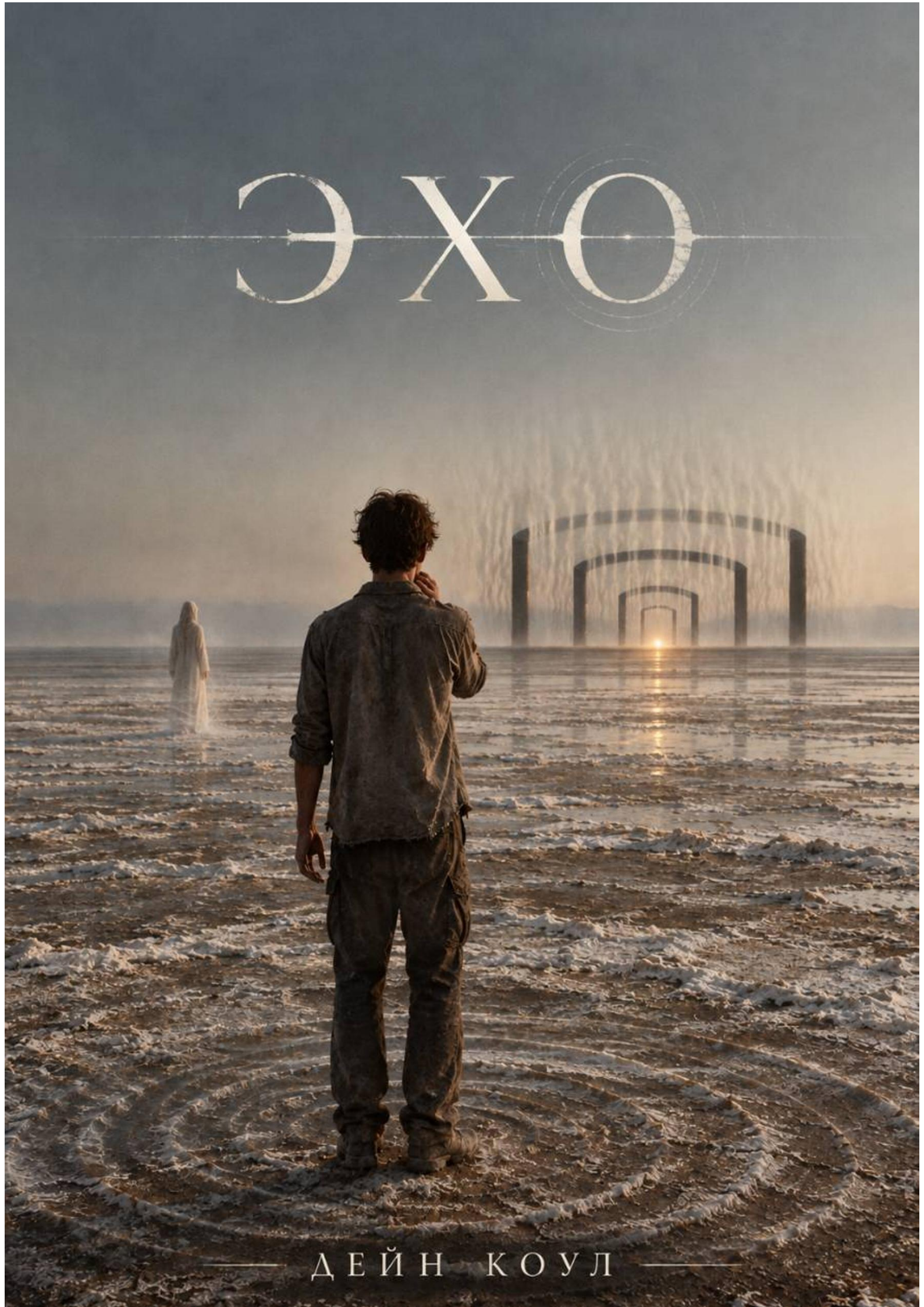


ЭХО



ДЕЙН КОУЛ

Дейн Коул

"Эхо"

«Автор»

2026

Коул Д.

"Эхо" / Д. Коул — «Автор», 2026

Тридцать пять лет назад мир разорвал собственный звук. Теперь крик убивает, тишина стала религией, а выжившие говорят руками. Эхо девятнадцать. Он родился глухим внутри Культа Молчания, и Культ объявил его живым знамением. Но однажды цена этой роли становится слишком высокой, и он бежит. В руинах ему встречается Рене, торговка слухами, которая едва не убивает его с первого взгляда, а позже бывалый следопыт Эзра, помнящий мир со звуком. Втроём они идут к месту из легенды: Белому Шуму. Одни говорят, что это рай. Другие, что оружие. У каждого из них свои причины идти туда и свои тайны, и не все готовы к тому, что найдут. Это история о людях, которые учатся слышать друг друга без слов, и о том, что остаётся от человека, когда у него отнимают имя.

© Коул Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Глава 1. Белая нить	6
Глава 2. Посмотрим, что скажет обряд	10
Глава 3. Ты не сказала мне правду	15
Глава 4. Без имени, без стены	19
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Дейн Коул "Эхо"

Глава

ЭХО

Автор Дейн Коул

Глава 1. Белая нить

Пол проснулся раньше него.

Эхо ещё лежал с закрытыми глазами, когда почувствовал это — низкую, размеренную дрожь, поднимающуюся сквозь войлок в рёбра, в челюсть, в зубы. Три коротких толчка, пауза, ещё два. Не тревога — обычный утренний сигнал, вбитый в кости раньше, чем в память: время подниматься. В Пепельном Хоре будили не голосом. Голос здесь берегли, как берегут последнюю спичку в сыром лесу — редко, по необходимости, и никогда не для того, что можно сказать иначе.

Он сел, провёл ладонью по каменному полу рядом с постелью — привычка, а не нужда, — и почувствовал, как дрожь стихает, растворяется в толще фундамента. Где-то в трёх этажах под ним, в самом сердце святилища, били в вибро-плиту: старую, гладкую от многолетних прикосновений металлическую пластину, вделанную в пол ещё до его рождения. Один удар — для всех. Три коротких — для младших. Пять — для тех, кто нёс службу у периметра. Азбука без слов, которую он знал лучше, чем собственное лицо в те редкие разы, когда видел его отражение в тёмной воде цистерны.

Его ниша — отдельная, у восточной стены, без соседей с тех пор, как ему исполнилось шестнадцать и статус потребовал уединения, — была вырезана в теле старого бетонного бункера. Мальчишкой он делил комнату ещё с четырьмя такими же, как он сам, но три года назад Совет решил, что живому знамени не место спать бок о бок с обычными адептами. Стены здесь были толще, чем в любом другом здании Пепельного Хора: инженеры прошлого строили на совесть, не зная, что однажды их убежище станет храмом для тех, кто молится тишине, а не богу с именем. Пол устилал плотный войлок — не для тепла, для звука. Каждый шаг, каждое падение утвари гасло, не долетев до соседней комнаты. Эхо привык к этому так, как привыкают к форме собственных рук.

Он оделся быстро — серая холстина, простая, без узоров, с вышитой на груди меткой Пепельного Хора: спираль, сворачивающаяся к центру, символ звука, идущего внутрь себя, а не наружу. Такую метку носили немногие. Такую метку, вышитую не серой, а белой нитью, носил вообще один человек во всей общине.

За порогом ниши его уже ждали.

Три девочки и мальчик, самому младшему на вид лет шесть, стояли ровным полукругом у стены, как их и учили стоять — плечом почти к плечу, лицом к учителю, руки на виду. Все четверо были обращёнными, не рождёнными в общине: он видел это не по тому, что они не умели молчать руками — молчать руками умел каждый, кто хоть месяц прожил вне защищённых стен, — а по тому, как путались их пальцы, складывая знаки Пепельного Хора. У себя, в прежних общинах, они говорили руками по-своему — обрывочно, наспех сложенным диалектом, каким говорит любая горстка людей, выживающих без единого учебника на всех. Здесь от них требовали не жестов вообще, а точного, единого языка, который Совет оттачивал поколениями, — и разница между «уметь молчать» и «молчать правильно» была первым, чему им приходилось учиться заново.

Эхо поднял правую руку на уровень груди, сложил пальцы в приветственный знак — раскрытая ладонь, разворачивающаяся внутрь, к сердцу, — и все четверо повторили за ним, неровно, слишком старательно. Он улыбнулся одними глазами — этому тоже учили, скупости мимики, — и начал урок с самого простого: азбука касаний, первые пять букв, те, что дети выучивают раньше, чем полноценные слова.

Он вёл занятие полтора часа, не отрывая взгляда от их рук — не потому, что был обязан, а потому что помнил, каково это: быть шестилетним и до ужаса бояться, что твой жест прочтут неправильно, и мир, в котором и без того нельзя кричать, станет ещё немного меньше. С

обращёнными нужно было терпение вдвое больше обычного — их руки помнили голос, который у них когда-то отняли не катастрофой, а жизнью в Пепельном Хоре, добровольно принесённой в жертву.

Когда урок закончился, дети неловко, но старательно попросились жёстами — путая пальцы, сбиваясь, повторяя друг за другом, — и разошлись по своим делам.

В проходе появился человек, ради которого Эхо на самом деле поднялся так рано.

Ансельм шёл своей всегдашней походкой — чуть подволакивая правую ногу, память о зиме, когда резонанс задел патруль на границе и один из адептов не вернулся, а Ансельм вернулся, но не весь. Седина у него была не старческая, а ранняя, будто выцветшая нарочно — Эхо иногда думал, что его наставник побелел не от возраста, а оттого, что слишком много лет провёл там, где нельзя было позволить себе покраснеть от гнева или почернеть от горя. Лицо Ансельма, когда он увидел Эхо, смягчилось так, как оно смягчалось ни для кого больше — Эхо знал это, потому что специально наблюдал, годами, тайком, за тем, как Смотритель смотрит на других адептов, других детей, даже на членов Совета. Так — никогда.

Ты сегодня рано, показал Ансельм, и в этом жесте — не в самих знаках, а в развороте кисти, в том, с каким теплом были сложены пальцы — было больше нежности, чем в любых словах, которые Эхо мог себе представить, но никогда не слышал.

Не мог спать, ответил Эхо. И, помедлив: *Опять снилось.*

Ансельм не спросил, что именно. Ему не нужно было спрашивать — за годы он выучил все повторяющиеся сны Эхо наизусть, как выучил его руки, его страхи, его молчание внутри молчания. Он просто положил ладонь Эхо на плечо — на секунду дольше, чем требовал обычай, — и повёл его через внутренний двор, туда, где утренний свет, процеженный сквозь узкие бойницы бывшего бункера, падал на камень косыми, пыльными полосами.

* * *

Трапезная встретила их глухим, ровным гулом полусотни движений — ложки о миски, локти о стол, шарканье сандалий по каменному полу, — тем фоновым шумом бытовой жизни, который никто в общине не считал звуком в полном смысле слова, потому что он не нёс в себе намерения. Намеренный звук карался. Случайный — терпели, как терпят дыхание.

Эхо почувствовал перемену раньше, чем увидел её: лёгкую рябь внимания, прошедшую по залу от входа, — так вода морщится, когда в неё бросают камень, даже если сам камень ещё не долетел до дна. Головы поворачивались не резко, а медленно, будто невзначай, но Эхо давно перестал верить в такие случайности. Он видел их всех — обращённых из последнего набора, тех, кто ещё месяц назад молился словами, потому что жестов не знал, — и видел, как их взгляды липнут к белой метке у него на груди чуть дольше, чем к серым меткам остальных, будто белое само по себе излучало тепло, которого не было в это холодное утро.

Кто-то из младших детей — та самая девочка с урока, самая маленькая, самая старательная — вскочила, едва завидев его, и склонила голову так низко, что чуть не задела лбом край стола. Ансельм чуть заметно покачал головой, и Эхо понял: ему полагалось остановить это, сказать, что не нужно, что он такой же, как все, — но за все эти годы он так и не нашёл в себе того знака, который прозвучал бы правдиво. Он просто кивнул девочке в ответ, коротко, повзрослому, и сел за длинный стол Совета, туда, где ему было положено сидеть по праву метки, а не по возрасту. На дальнем конце стола уже сидели двое взрослых адептов — пришли, видимо, минутой раньше, — и дежурный как раз обходил их с котлом каши, начиная разносить завтрак с того края.

Дежурный как раз проходил мимо, когда Эхо и Ансельм сели, и на мгновение замер с котлом в руках. Раздача за столом Совета шла по старшинству — сперва те, кто выше саном, и только затем вниз, по убыванию. Двое на дальнем конце давно были возведены в сан; Эхо — нет. Дежурный задержался взглядом на белой ткани дольше, чем нужно, явно хотел поступить иначе — и всё же свернул к дальнему концу стола, начав с тех, кто стоял выше по формаль-

ному счёту. Только разлив кашу им, он вернулся назад, к Эхо и Ансельму. Кашу Эхо получил последним из четверых за столом Совета, и в этом — в том, что даже желание услужить ему подавлялось ради порядка, — было горше, чем если бы его обошли вовсе.

Он ел молча, глядя в стол.

Ансельм сел напротив, ближе, чем полагалось по протоколу — но за столом Совета протокол давно уже сгибался под его волей молча, без обсуждения, как сгибается металл под достаточно упорной рукой. Он не притронулся к еде. Он смотрел на Эхо тем взглядом, которым смотрел, когда хотел сказать что-то, для чего ещё не придумал жеста.

Через три недели, показал наконец Ансельм, медленно, будто взвешивая каждый знак заранее, *Совет назначит день твоего посвящения в сан.*

Рука Эхо замерла над миской.

Он знал, что это придёт — годами слышал намёки, приготовления, косвенные взгляды. Но знать и увидеть слово, сложенное пальцами человека, которому он верил больше, чем себе самому, — оказалось разным.

А что во дворе, показал Эхо вместо ответа, кивнув почти незаметно в сторону галереи, откуда они пришли, *имеет к этому отношение?*

Ансельм долго смотрел на него. Потом сложил только одно слово, и в этом единственном знаке было больше усталости, чем во всех словах, что он произнёс за это утро вслух.

Нет.

Эхо не поверил снова. Но он опустил взгляд к остывающей каше и не стал спрашивать в третий раз — не потому что поверил, а потому что видел, чего это стоит Ансельму, и впервые в жизни пожалел наставника больше, чем испугался за себя.

* * *

После завтрака Ансельма позвали к Совету — вибро-плита под трапезной дважды коротко стукнула, сигнал, который Эхо давно выучил как «немедленно, старшим», — и Ансельм ушёл, оставив недосказанность повисшей между ними плотнее, чем утренний туман над двором. Эхо не пошёл за ним. У него было своё дело на это утро, то, которое он никому не показывал и ни у кого не спрашивал разрешения совершать, — потому что за все эти годы никто ни разу не запретил ему это прямо, а значит, формально это оставалось позволено.

Святылище находилось в самой старой части Пепельного Хора, там, где бетон бункера уступал место более раннему, довоенному кирпичу — остаткам здания, стоявшего здесь ещё до того, как катастрофа расколола мир на до и после. Путь туда лежал мимо трёх постов охраны, и на каждом Эхо просто кивали, пропуская без вопросов: белая метка на груди была пропуском, который не требовал слов ни в одном из смыслов этого слова.

Внутри было тихо даже по меркам Пепельного Хора — не той тишиной, которую соблюдали намеренно, а тишиной пустого, редко посещаемого места. Свет проникал сюда через единственное узкое окно под потолком, выкрашивая пыль в воздухе золотым, и в центре, на постаменте, вырезанном из того же тёмного камня, что и весь зал, стояла фигура.

Она была высечена из белого, полупрозрачного камня, отдалённо похожего на тот самый резонансный кристалл, который добывали мусорщики в мёртвых городах, но обработанного, сглаженного, лишённого той пугающей хрупкости, которая отличала настоящее Окаменевшее Эхо от произведения искусства. Женская фигура, руки сложены на груди, лицо повернуто чуть вверх и в сторону — застывшее в позе, которую скульптор явно задумывал как умиротворённую. У основания постамента лежали подношения: высохшие цветы, обрывки ткани, детские рисунки жестового алфавита, оставленные теми, кто приходил сюда молиться матери, которую никогда не видел живой.

Эхо опустился на колени перед постаментом — не потому что верил в то, во что верила остальная община, а потому что не знал, что ещё делать со своим телом в присутствии этой фигуры, которая была одновременно его матерью и не была ею вовсе. Ему никогда не говорили,

что она умерла — этого слова избегали в Пепельном Хоре применительно к ней так же старательно, как избегали лишнего звука. Ему говорили: она слилась с тишиной. Она вознеслась в безмолвие. С детства эти формулировки заменяли ему слово «смерть» настолько полно, что он то ли не замечал подмены, то ли давно перестал искать её.

Он никогда не спрашивал вслух — то есть жестами — правда ли это её точное подобие, или скульптор изваял то, что Совету было нужно увидеть верующим: спокойствие, благословение, чудо, свершившееся с достоинством. Что-то в самой гладкости этого камня, в отсутствии единой трещины, единой неровности, всегда казалось ему неправильным. Настоящий резонанс не оставлял ничего гладкого. Он видел это своими глазами — в Мёртвых Милях таких статуй не делали.

Он приложил ладонь к постаменту, туда, где камень всегда был на пару градусов холоднее, чем воздух вокруг, и закрыл глаза.

Через три недели, подумал он — не жестом, просто мыслью, потому что даже наедине с собой давно привык формулировать про себя знаками, — я стану тем, кем меня растили стать. А ты так и не сказала мне, кем я был до этого.

Камень, разумеется, не ответил. Он никогда не отвечал. Но впервые за все годы коленопреклонённых визитов Эхо поймал себя на мысли, что не уверен, обращается ли он к своей матери — или к чему-то, что Совет построил вместо неё.

Глава 2. Посмотрим, что скажет обряд

Через три дня после разговора за завтраком Ансельм отправил его с поручением, которое не было поручением.

Отнеси это в западное крыло, показал наставник, вкладывая ему в руки свёрток плотной, промасленной ткани — что-то длинное, узкое, завёрнутое в несколько слоёв. *Спросишь брата Кайла. Он ждёт.*

Западное крыло. Эхо бывал там едва ли трижды в жизни — территория, куда обычным adeptам заходить не полагалось без прямого вызова, где проводились обряды, не предназначенные для глаз общины. То самое крыло, что примыкало к внутреннему двору для ритуалов, который он видел сквозь смотровую щель три дня назад.

Он не спросил, что в свёртке. Что-то в том, как Ансельм отвёл взгляд, вручая его, подсказывало: ответ существовал, но не для него.

Коридоры западного крыла отличались от остальной общины даже на ощупь — камень здесь был холоднее, необработаннее, будто эту часть здания намеренно оставили такой, какой она была до того, как Пепельный Хор превратил бункер в святилище. Вибро-сигналы здесь тоже звучали реже: Эхо прошёл добрых полсотни шагов, не почувствовав под ногами ни одного толчка, и эта тишина, куда более полная, чем где-либо ещё в общине, давила на него сильнее, чем любой звук мог бы придавить слышащего человека.

Брат Кайл нашёлся в третьей по счёту комнате — невысокий, жилистый мужчина среднего возраста, с руками, покрытыми тонкими белёсыми шрамами, которые Эхо сперва принял за старые ожоги. Он принял свёрток без единого жеста благодарности, развернул один угол ткани ровно настолько, чтобы убедиться в содержимом, и коротко кивнул Эхо — свободен.

Эхо не ушёл сразу.

За открытой дверью, чуть дальше по коридору, вибрировал воздух — не пол, именно воздух, тем особым дрожанием, которое возникало, когда несколько человек одновременно совершали резкое, синхронное движение в замкнутом каменном пространстве. Он давно научился различать типы вибраций, как слышащий человек различает тембры голосов: эта была новой, и в ней было что-то механическое, ритмичное, повторяющееся с равными промежутками.

Он подошёл к двери настолько, насколько позволяло приличие, и заглянул внутрь.

Комната за дверью была вдвое меньше трапезной, без окон, освещённая несколькими масляными лампами, расставленными по периметру так, чтобы свет падал в центр, а не в углы. В центре, на низкой скамье, сидел мужчина лет тридцати — Эхо видел его прежде, кажется, среди тех, кто нёс службу у восточных ворот, — и двое держали его за плечи, не силой, а тем плотным, почти нежным хватом, каким держат человека, готовящегося пройти через что-то, откуда лучше не вырываться на середине.

Брат Кайл — тот самый, из третьей комнаты, только уже без свёртка в руках, а с чем-то тонким, металлическим, извлечённым из ткани, которую Эхо сам сюда принёс, — стоял перед сидящим и что-то показывал ему, медленно, явно повторяя ритуальную формулу, которую тот, судя по кивку, уже слышал прежде. Инструмент в руке Кайла был тем самым узким предметом, который Эхо видел на расстоянии три дня назад, сквозь смотровую щель, — только теперь он был достаточно близко, чтобы разглядеть: не нож, не игла в привычном смысле — тонкий металлический штырь с рукоятью, обмотанной кожей там, где его сжимали пальцы.

Прежде чем начать, Кайл показал знак — тот же, что показывают перед опасной вылазкой за периметр, предупреждение, не благословение: не каждый проходит через это целым. Мужчина на скамье кивнул — коротко, без колебания, будто слышал это не впервые, — и закрыл глаза. Его руки, лежавшие на коленях, сложились в знак, который Эхо уже видел однажды у фигуры в белом, — тот самый, покорный, ни приветствие, ни молитва.

Кайл поднёс штырь к его уху.

Эхо не отвёл взгляд — не потому что хотел смотреть, а потому что тело отказалось слушаться раньше, чем разум успел решить, что делать. Он увидел, как спина мужчины на скамье выгнулась, как побелели костяшки державших его рук, как рот раскрылся в форме, которая безошибочно читалась даже без звука, — и не издал ни единого голоса. Ни единого. Ткань лица исказилась в чистой, беспримесной боли, а горло молчало, будто дисциплина, вбитая в него годами, оказалась сильнее, чем сама плоть.

Со вторым ухом было хуже. На середине процедуры тело мужчины дёрнулось так резко, что один из державших едва не потерял хватку, и Эхо почувствовал — через пол, через воздух, через ту вибрацию, которую тело умеющего чувствовать резонанс улавливало острее любого слуха, — как что-то в комнате изменилось. Не звук. Отсутствие того, что должно было последовать за таким телесным содроганием и не последовало.

Кайл отступил на шаг, вытер штырь тканью и коротко, буднично показал державшим: закончено.

Мужчина не открыл глаза. Не пошевелился. Один из державших его наклонился, приложил пальцы к его шее — и через удар сердца, который Эхо прочёл по замершему, а затем медленно поникшему выражению этого лица, стало ясно: не закончено в том смысле, в каком заканчивается обряд. Закончено в другом.

Никто в комнате не закричал. Никто не отшатнулся. Двое державших аккуратно опустили тело на скамью, сложили ему руки на груди в той же покорной позе, и Кайл, всё ещё стоя с окровавленной тканью в руке, склонил голову — не в горе, Эхо был почти уверен, а в чём-то, куда более похожем на то, как склоняют голову перед завершённым, удавшимся делом.

* * *

Он отступил от двери на полшага раньше, чем один из державших тело поднял взгляд в его сторону — не увидел бы, будь Эхо чуть быстрее, но не был. Их глаза встретились на долю секунды через щель приоткрытой двери, и Эхо замер, ожидая окрика, вызова, чего угодно, что означало бы: тебя поймали там, где тебе быть не следовало.

Окрика не последовало. Мужчина — Эхо не знал его имени, только лицо, примелькавшееся где-то среди адептов среднего звена, — просто смотрел на него ещё секунду, потом медленно, почти торжественно склонил голову. Не предупреждение молчать. Не гнев за подсмотренное. Что-то другое — то самое узнавание, ту же смесь благоговения и чего-то более тяжёлого, что Эхо привык ловить на лицах обращённых за завтраком, только теперь удесатерённую тем, что человек только что видел, как рядом с ним умер тот, кто пытался стать чуточку ближе к нему.

Эхо развернулся и пошёл прочь по коридору, слишком быстро для приличия, слишком медленно для того, чтобы это выглядело бегством.

Он не помнил, как дошёл до внутреннего двора — того самого, открытого, где утренний свет падал косыми полосами, — пока не почувствовал под ногами разницу между шершавым камнем западного крыла и гладкими плитами общей территории. Он остановился, упёрся ладонью в стену, вдохнул раз, другой, будто воздух здесь был гуще, чем в комнате, которую он покинул, хотя на деле всё было ровно наоборот.

Не каждый проходит через это целым.

Знак, который показал Кайл, стоял перед глазами отчётливее, чем лицо умершего. Не потому что был страшнее — потому что в нём была логика, которую Эхо не мог опровергнуть, сколько ни пытался: они знали. Все в той комнате знали, на что идёт мужчина на скамье, и приняли этот исход заранее, тем же кивком, каким принимают погоду или голод. Не жертва казни. Соискатель — который рискнул и проиграл, добиваясь того единственного, что Эхо получил, просто родившись.

Он опустил взгляд на собственные руки — обычные, ничем не отмеченные, если не считать белой нити на груди, — и впервые в жизни задал себе вопрос, у которого не находилось знака: если люди готовы лишиться себя по кускам, чтобы приблизиться к тому, кем он является без всяких усилий с его стороны, — кто он тогда для них? Живое доказательство милости, которой они жаждут? Или просто мера, эталон, с которым сверяют, насколько далеко можно себя изувечить, прежде чем это станет ошибкой, а не подвигом?

Он не нашёл ответа до того, как вибро-сигнал под ногами позвал его обратно — три коротких, пауза, ещё два. Общий сбор. Время идти.

* * *

Двор для общих собраний заполнялся быстро — Пепельный Хор умел двигаться слаженно, без толкотни и лишних жестов, привычка, вбитая в каждого, кто прожил здесь достаточно долго. Эхо занял своё место в переднем ряду, рядом с помостом, там, где стоял всегда, — и почувствовал сквозь плиты под ногами лёгкую, частую дрожь сотен ног, сходящихся к одной точке.

Совет вышел на помост в полном составе — семеро, в мантиях цвета золы, каждая с той же спиральной меткой, что носил Эхо, только серебряной нитью вместо белой. Ансельма среди них не было: он не входил в Совет, несмотря на все годы службы и весь вес, который имело его слово, — деталь, над которой Эхо никогда прежде не задумывался всерьёз, а теперь, стоя здесь после увиденного в западном крыле, задумался остро и неприятно.

Возглавлял шествие тот самый высокий, с лицом, будто вырезанным из камня, — Эхо видел его тогда, сквозь смотровую щель, стоящим над коленопреклонённой фигурой в белом. Вблизи, при полном свете двора, его черты оказались ещё резче: глубоко посаженные глаза, скулы, обтянутые сухой кожей, и то особое спокойствие лица, которое Эхо давно научился отличать от настоящего покоя, — спокойствие человека, привыкшего, что за ним наблюдают, и построившего себя специально для этого взгляда.

Хранитель Морвен, показал кто-то рядом с Эхо — молодой адепт, шёпотом жестов, обращённым скорее к себе, чем к соседу, — и в этом имени Эхо услышал вес, которого не замечал прежде, хотя видел этого человека десятки раз с детства.

Морвен поднял руки — жест общего внимания, тот самый, с которого начиналось каждое собрание, — и заговорил вслух, чётко, размеренно, тем голосом, который был поставлен годами публичных речей именно для тех в толпе, кто ещё не выучил жестов до конца. В тот же миг, с двух сторон помоста, синхронно с первым его словом, начали двигаться руки двух адептов, стоявших чуть в стороне и чуть ниже, — Эхо знал одного из них в лицо, помнил его тихим, почти незаметным человеком, пока не заметил однажды шрамы у него за ушами. Дублирующие переводили речь Хранителя в знаки для тех в толпе, кто добровольно лишил себя слуха ради близости к святым и теперь зависел от чужих рук так же, как Эхо зависел от них всю жизнь — только их зависимость была выбором, а его — рождением.

— Братья и сёстры Пепельного Хора. — Голос шёл через воздух ровными, широкими волнами, и Эхо ловил их не ухом, а грудью, тем гулом, который отдавался в кости при достаточно громком звуке. — Через три недели наша община станет свидетелем события, какого не видела почти два десятилетия. Дитя резонанса, рождённое в тишине, которую сотворил сам мир, — Морвен на мгновение повернул голову в сторону Эхо, и весь двор синхронно повторил это движение вслед за ним, — примет посвящение в полный сан и встанет рядом с Советом как живое подтверждение нашей веры.

Двор откликнулся не аплодисментами — их здесь не бывало — а волной синхронных, поднятых вверх ладоней, тем безмолвным одобрением, которое Пепельный Хор выработал взамен овации. Сотни рук поднялись одновременно, и Эхо почувствовал под ногами едва уловимую дрожь от самого этого движения — сотни тел, сместивших вес в один и тот же миг.

Он поднял взгляд на Морвена и на секунду, прежде чем Хранитель отвёл глаза обратно к толпе, поймал в его лице что-то, не предназначенное для публики — не гордость, не даже расчёт. Что-то более узкое и холодное, промелькнувшее и тут же спрятанное обратно за отработанное спокойствие. Эхо не успел назвать это чувство словом. Но тело — то самое тело, что научилось читать вибрацию смерти сквозь пол задолго до того, как разум успевал её осмыслить, — уже знало: это было не одобрение.

Морвен продолжал, и голос его, размеренный, поставленный, раскатывался по двору без единой заминки, будто он произносил эти слова не в первый раз, а много раз прежде — репетировал их для этого самого дня задолго до того, как день настал.

— Многие из вас помнят, как я помню, — говорил он, и переводчики по бокам от помоста едва поспевали за его темпом, — время до чуда. Время, когда Пепельный Хор был одной из многих общин, цепляющихся за выживание в мире, который забыл, что такое покой. Дитя резонанса изменило это. Его рождение — доказательство, что тишина не карает тех, кто ей верен. Она вознаграждает.

Эхо стоял неподвижно, чувствуя, как сотни взглядов текут по его плечам, его спине, его белой метке — не грубо, не жадно, а с той особой бережностью, с какой смотрят на вещь, которую боятся уронить. Он давно перестал вздрагивать от этого внимания. Но сегодня, после комнаты в западном крыле, после звука без звука, который так и стоял в его костях, — сегодня внимание толпы ощущалось иначе. Тяжелее. Будто он впервые по-настоящему понял вес того, что несёт, а не просто нёс его, не оборачиваясь.

Он нашёл взглядом Ансельма — тот стоял не на помосте, среди Совета, а сбоку, у самого края, там, где стояли старшие адепты без сана члена Совета — притом что Ансельм служил общине уже двадцать три года, дольше многих из тех, кто сейчас восседал на помосте, и его верность была проверена и доказана задолго до того, как ему вообще доверили растить живое знамение. Несмотря на это, несмотря на то, что весь Пепельный Хор знал: без слова Ансельма ни одно решение о воспитании Эхо не принималось за все девятнадцать лет с его рождения — Ансельм так и не получил места среди семерых.

Лицо Ансельма, пока Морвен говорил о вознаграждении и чуде, оставалось безупречно спокойным для всех, кто смотрел бы на него мельком. Но Эхо смотрел не мельком. Он видел, как челюсть наставника была сжата на полтона крепче, чем требовало простое внимание к речи. Видел, как его пальцы, опущенные вдоль тела, едва заметно подрагивали — не от холода. Видел то, что видел бы только тот, кто изучал это лицо девятнадцать лет вместо девятнадцати минут.

Морвен закончил речь тем же жестом, каким начал её, — поднятыми руками, призывом к молчаливому одобрению, — и двор снова откликнулся волной поднятых ладоней, снова той едва уловимой дрожью сотен смещающихся тел. Собрание расходилось медленно, слаженно, без единого лишнего движения, будто сама толпа была ещё одним механизмом, выстроенным Пепельным Хором для тишины.

Эхо не двинулся с места, пока двор не опустел наполовину. Он ждал, глядя туда, где только что стоял Ансельм, — но край помоста уже был пуст. Наставник ушёл, не дожидаясь его, не подав ни единого знака, впервые за все эти годы, что Эхо мог вспомнить.

* * *

Он нашёл Ансельма не сразу — обошёл трапезную, восточные ворота, даже заглянул в главный зал святилища, туда, где утром сам стоял на коленях перед статуей матери, — и в конце концов почувствовал его не глазами, а тем особым чутьём к присутствию, которое вырабатывается у двух людей, годами живущих в одном узком мире жестов и вибраций. Дрожь в полу коридора, ведущего к архивным комнатам, — слишком короткая для шагов патруля, слишком тяжёлая для младшего адепта.

Дверь архива была приоткрыта на ладонь. Эхо остановился у щели, не входя, — привычка, ввевшаяся за последний час глубже, чем он ожидал, — и увидел внутри двоих.

Ансельм стоял спиной к двери, напряжённый, руки сжаты в кулаки вдоль тела. Напротив него, вплотную, стоял Морвен.

Разговор шёл жестами — быстрыми, резкими, лишёнными той плавности, с которой Ансельм обычно говорил с Эхо. Эхо читал знаки Морвена не полностью, под таким углом, но уловил достаточно: сомнение, происхождение, чистота. Слова, сложенные не как вопрос, а как обвинение, брошенное тихо, между двумя людьми, один из которых явно не имел права возражать другому — и всё же возражал.

Ансельм ответил одним резким знаком, коротким, почти грубым для его обычной сдержанности — и Морвен замер на секунду, будто не ожидал такого ответа именно от него. Затем Хранитель улыбнулся — тонко, одними уголками губ, той улыбкой, которую Эхо уже видел на помосте и уже не доверял ей, — и сложил последний знак медленно, с нажимом, явно рассчитанным на то, чтобы врезаться в память собеседника.

Посмотрим, что скажет обряд.

Он развернулся к выходу, и Эхо едва успел отступить в тень бокового прохода, вжавшись в холодный камень, — Морвен прошёл мимо, не заметив его, с тем же безупречным спокойствием, что и на помосте, будто минуту назад не произносил ничего, что могло бы это спокойствие поколебать.

Эхо подождал, пока шаги — которые он не слышал, но чувствовал их ритм через плиты, — стихнут в отдалении, и только тогда вошёл в архив.

Ансельм стоял на том же месте, так и не обернувшись, и его плечи, обычно прямые, обычно несущие тот же спокойный вес, с каким он нёс всё остальное, теперь были опущены так, как Эхо никогда прежде не видел.

Что он имел в виду, показал Эхо, подойдя ближе, *«посмотрим, что скажет обряд»?*

Ансельм обернулся не сразу. Когда он наконец повернулся, его лицо было тем же лицом, что Эхо знал столько лет, — но за ним, впервые, стоял страх, который наставник не успел спрятать достаточно быстро.

Ничего, показал он.

И впервые за всю жизнь Эхо этот знак прозвучал не как ложь, которую Ансельм говорил ради его защиты.

Он прозвучал так, будто Ансельм сам не знал ответа.

Глава 3. Ты не сказала мне правду

Три недели прошли не как отсчёт дней, а как медленное сжатие — так сжимается воздух перед бурей, которую ещё не видно, но уже чувствуешь кожей. Эхо не искал больше встреч с Ансельмом наедине: что-то в том, как наставник держался с ним всё это время — чуть теплее обычного, чуть дольше задерживая руку на прощание, — говорило яснее любых знаков, что спрашивать больше не о чем. Морвена он видел издалека, на общих собраниях, и каждый раз ловил на его лице то же отработанное спокойствие, за которым, как теперь знал Эхо, могло скрываться что угодно.

В ночь обряда за ним пришли не с обычным вибро-сигналом, а лично: двое адептов в мантиях ритуального синего цвета, которого Эхо прежде не видел ни на ком. Они не показали ему ни слова. Просто одним жестом — раскрытая ладонь, разворот к двери — велели следовать.

Его провели не в западное крыло, а глубже — туда, куда не вела ни одна из троп, которые Эхо изучил за годы жизни в Пепельном Хоре. Лестница вниз, вырезанная прямо в скальном основании бункера, спускалась дольше, чем он ожидал, и с каждым пролётом воздух становился плотнее, будто сам камень здесь помнил вес того, что творилось в его толще с самого основания общины.

Зал внизу был круглым, без единого угла, где мог бы спрятаться звук. В центре, на постаменте из того же тёмного камня, что и статуя матери наверху, стоял контейнер — невысокий, цилиндрический, сплетённый из металлических полос настолько плотно, что Эхо не смог разглядеть, что внутри, пока не подошёл достаточно близко.

Внутри, в сетке из приглушающей ткани, лежал осколок.

Он был меньше кулака, бледно-молочный, с той же мертвенной, неестественной гладкостью, что и статуя наверху, — только эта гладкость шла не от резца скульптора. Эхо видел уже такие в руках мусорщиков, приходивших торговать в Пепельный Хор: осколок Окаменевшего Эха, вырезанный из чьего-то застывшего, минерализованного тела, всё ещё хранящий в себе отголосок того звука, что когда-то убил своего носителя. Держали такие только в свинце, в ткани, в многослойной защите — и даже так рисковали.

Здесь его держали открыто, в клетке из металла, в самом сердце ритуального зала.

Морвен стоял у пьестала, в мантии не пепельно-серого цвета Совета, а той же ритуальной синевы, что и адепты, приведшие Эхо. Рядом с контейнером, чуть в стороне от него, стоял второй распорядитель обряда — тот, кому по древнему, никем давно не оспариваемому разделению полномочий полагалось управлять самой механикой испытания: рассчитывать и держать дистанцию между кандидатом и резонансом. Морвен вёл слово. Этот — вёл расстояние. Рядом с Морвеном, чуть в стороне, застыл Ансельм — и по тому, как напряжённо он держал плечи, Эхо понял: наставник знал заранее, что произойдёт здесь этой ночью, и знание это не приносило ему покоя.

Дитя резонанса, показал Морвен, когда Эхо остановился перед пьесталом, и в знаке было то же публичное достоинство, что и на собрании три недели назад, — *рождённое в тишине. Ты выдержишь его близость, не дрогнув, — и докажешь, что тишина в тебе не ослабла.*

Он подал знак адептам. Те подошли к Эхо с двух сторон, и один из них протянул моток тёмной ткани — повязку.

Эхо понял, для чего она, за секунду до того, как ему завязали глаза, и в этой секунде успел заметить последнее: лицо Ансельма, застывшее в выражении, которое Эхо никогда прежде на нём не видел, — не страх за себя. Страх за кого-то другого, полный, беспримесный, ничем больше не прикрытый.

Потом мир исчез, и остался только камень под коленями, холод, поднимающийся от пола сквозь тонкую ткань ритуального одеяния, и та особая, полная темнота, в которой Эхо, лишённый теперь и слуха, и зрения одновременно, впервые в жизни остался наедине только с тем, что мог почувствовать через кожу и кости.

* * *

Время в темноте не имело формы. Эхо не знал, сколько простоял на коленях — минуты или значительно больше, — прежде чем почувствовал первую перемену: пол под ним начал вибрировать иначе, мелкой, нарастающей дрожью, не похожей ни на один сигнал, который его когда-либо учили распознавать.

Дрожь шла от постамента. От контейнера.

Он не мог видеть, что происходит, но тело безошибочно считывало: кто-то приближал его к осколку. Не снимал повязку — просто подводил ближе, шаг за шагом, и с каждым шагом дрожь в полу становилась плотнее, забиралась выше — из ступней в колени, из колен в бёдра, туда, где кость передавала её напрямую, минуя всякую мысль о том, стоит ли бояться.

Его учили: на обряде должна быть безопасная граница. Контейнер не открывают полностью. Расстояние выверено заранее, протоколом, накопленным поколениями Хранителей, которые не хотели терять живое знамение раньше срока. Эхо помнил это так же твёрдо, как помнил собственное имя.

Дрожь, поднимавшаяся в его костях, говорила, что границу нарушили.

Он не мог кричать в знак протеста — не той частью себя, что умела кричать голосом, — но всё его тело выгнулось, рванулось назад, инстинктивно, вопреки всем годам вбитой в него дисциплины. Чьи-то руки — не грубо, но неумолимо — удержали его на месте за плечи. Держать положено. Так было в протоколе. Так, наверное, было даже сейчас, формально, — просто протокол расширили за пределы, которые кто-то посчитал допустимыми только для него одного.

Дрожь достигла груди.

И тогда пол дрогнул совсем иначе — резко, единожды, будто что-то тяжёлое и живое рвануло через пространство между Эхо и постаментом, — и руки, державшие его плечи, разжались одновременно, все, в одну и ту же долю мгновения, как от общего, неотрететированного потрясения.

Эхо не слышал, что случилось. Не видел. Но пол — камень под коленями, тот самый камень, что нёс на себе вес каждого звука в этом зале, — передал ему то, чего не смог передать ни один из органов чувств, которыми он обладал: единый, страшный удар вибрации, начавшийся у постамента и прокатившийся через плиты, точно круг по воде, слишком мощный, чтобы быть просто шагом или падением.

А следом — тишина в самом полу. Не отсутствие звука, к которому он привык с рождения. Отсутствие движения. Отсутствие той едва уловимой, вечно живой дрожи дыхания и сердца, которую тело давно научилось читать в другом теле, стоящем достаточно близко.

Кто-то сдёрнул повязку с его глаз.

Первое, что увидел Эхо, был не Морвен, не постамент, не контейнер.

Ансельм лежал на камне в шаге от него, неподвижный, с лицом, обращённым в потолок, и на этом лице застыло выражение, которое Эхо не мог прочесть, — не боль, не страх, что-то третье, что-то, чему он не знал знака.

* * *

Эхо не помнил, как оказался на коленях рядом с телом — помнил только холод камня под ладонями, которые он прижал к груди Ансельма, ища то, чего там больше не было. Ни вздоха. Ни той едва уловимой дрожи, что тело улавливает раньше разума. Только неподвижность, абсолютная и незнакомая, будто Ансельм вдруг стал частью пола, а не человеком, который стоял на нём мгновение назад.

Один из адептов в синем — тот, что держал его плечи, — отступил на шаг, глядя на собственные руки так, будто не узнавал их. Второй застыл у постамента, не сводя глаз с контейнера, который теперь, после случившегося, был снова наглухо закрыт — Эхо не видел, кто успел это сделать.

У самой границы света, там, где ритуальный зал переходил в тень, стоял второй распорядитель — тот, что вёл расстояние. Та же ритуальная синева, что и на остальных, — и всё же он единственный не сдвинулся с места ни на шаг с той секунды, как всё пошло не так, будто настолько глубоко ушёл в расчёт того, что произошедшее означает лично для него, что не заметил, как остался единственным неподвижным телом в комнате, полной потрясённых людей.

Морвен стоял неподвижно дольше всех из тех, кого Эхо мог назвать по имени.

Эхо поднял на него взгляд — мокрый, невидящий почти, — и увидел на лице Хранителя нечто, для чего у него не нашлось бы знака: не горе, не даже потрясение в чистом виде. Расчёт, вернувшийся в глаза на долю секунды позже, чем следовало бы человеку, искренне ошеломлённому смертью. Будто Морвен не столько скорбел о случившемся, сколько торопливо пересчитывал, что оно теперь означает.

Несчастный случай, показал он наконец, обращаясь не к Эхо — к адептам, — жестами резкими, отточенными, слишком быстро сложенными для того, кто якобы был застигнут врасплох. *Защита подвела. Об этом доложат Совету.*

Эхо смотрел на его руки и понимал то же, что, наверное, понимал каждый в этом зале: Ансельма убил не человек и не клинок. Его убил тот же резонанс, что убивает любого, кто оказывается в его радиусе без защиты, — наставник просто оказался там, где по протоколу оказываться не следовало, приняв удар, предназначенный не ему. Искать за такую смерть убийцу в привычном смысле было некого — раны не было, крови не было, только неподвижное тело и снова закрытый контейнер. Искать было что другое: того, кто сдвинул границу, из-за которой Ансельм вообще оказался в пределах досягаемости.

Эхо смотрел на знак Морвена и чувствовал, как внутри него что-то встаёт на место с тяжестью, которой не было названия, — не догадка, а узнавание того, что тело знало ещё в темноте, когда дрожь в полу нарушила границу протокола на несколько шагов раньше, чем следовало. Защита не подвела сама. Её подвели.

Он не сказал этого вслух. Не показал ни знаком. Просто медленно опустил взгляд обратно на лицо Ансельма — застывшее, обращённое в потолок, с тем непрочитанным выражением, которое Эхо теперь, кажется, начинал понимать: не боль. Облегчение. Наставник знал, на что шёл, в ту секунду, когда рванулся вперёд, и не жалел об этом даже в последний миг.

Эхо поднялся на ноги медленно, будто заново учился держать собственный вес.

Он не решал бежать в ту секунду, стоя над телом единственного человека, который смотрел на него все эти годы не как на знамение. Решение сложилось само, без слов и без жестов, тем же путём, каким тело узнаёт о надвигающейся буре раньше, чем разум успевает назвать её бурей: он не может остаться там, где только что произошедшее назовут случайностью, где Морвен и человек, который вёл расстояние, останутся единственными, кто помнит правду.

Он развернулся и пошёл к лестнице, оставляя за спиной тело, контейнер и Хранителя, который не сделал ни единого движения, чтобы его остановить.

* * *

Он не помнил дороги наверх — только то, что ноги вели его сами, через коридоры, которые он знал вслепую, мимо постов охраны, кивавших ему по привычке, не замечая ничего необычного в лице того, кого приучились не разглядывать слишком пристально. Белая метка на груди снова работала как пропуск. Никто не остановил его. Никто ещё не знал.

Он оказался у входа в святилище прежде, чем осознал, что выбрал этот путь.

Внутри было так же тихо, как утром три недели назад, — та же золотая пыль в единственном луче света, то же молчание пустого, редко посещаемого места. Статуя стояла на поста-

менте неподвижная, гладкая, безупречная в своём холодном спокойствии, и Эхо остановился перед ней в последний раз, не опускаясь на колени.

Он смотрел на изваянное лицо — умиротворённое, повёрнутое чуть вверх, лишённое единой трещины, единой неровности, — и впервые за все прожитые с этим образом годы не почувствовал ничего похожего на молитву. Только ясность, холодную и окончательную, как сам камень под ладонью, когда он в последний раз коснулся постамента.

Ты не сказала мне правду, подумал он — не жестом, просто мыслью. И они не скажут тоже. Значит, мне придётся узнать её самому.

Он не поклонился на прощание. Просто развернулся и пошёл прочь — мимо трёх постов охраны, мимо трапезной, где кто-то уже, вероятно, убирал утреннюю посуду, ничего не подозревая, — туда, к периметру, к границе, за которой начинался мир, которого его учили бояться, но не учили в нём выживать.

За спиной, где-то в глубине общины, пол под чужими ногами наконец задрожал тревожным, рваным ритмом — сигнал, которого Эхо прежде не знал в лицо, но узнал безошибочно всем телом.

Его хватились.

Он побежал.

Глава 4. Без имени, без стены

Последний вибромаяк Пепельного Хора гас у него за спиной медленно, толчками — сначала через подошвы, потом только в костях голени, потом нигде. Эхо остановился на полушаге, не веря телу. Всю жизнь пол под ним говорил: здесь поворот, здесь ступень, здесь чужие шаги приближаются справа. Теперь под ногами была просто земля. Глухая в буквальном смысле, немая в переносном — она не сообщала ничего, и от этого молчания у него свело челюсть сильнее, чем от голода.

Он не обернулся. Знал: если обернётся, вернётся.

Первые часы дались телу, а не разуму. Разум ещё пытался составить план — идти на закат, держаться низин, — но руки сами тянулись ощупать ближайшую стену на предмет знакомой дрожи, а её не было нигде. Пальцы находили только шершавый бетон, труху, ржавчину. Пустая привычка сработала вхолостую раз, другой, третий — и на четвёртый он заставил себя остановиться и просто посмотреть. По-настоящему посмотреть, как не учили: не ждать, что мир скажет ему через кости, а читать его глазами, как читают чужие.

Это оказалось изматывающе. Зрение никогда не было его главным языком — теперь пришлось заставлять его работать за двоих, вместо кожи и вместо слуха, которого и так не было. Он шурился на тени, пытаясь угадать в них то, что раньше угадывал по вибрации: живое или мёртвое, близко или далеко, опасно или нет. Получалось плохо. Каждый куст казался засадой. Каждая дыра в асфальте — ловушкой.

Он вышел к ним раньше, чем успел испугаться правильно.

Три силуэта у обрушенной автостоянки, приземистые, шевелящиеся нервно — тело Эхо среагировало раньше мысли: вниз, за угол, спина к холодному металлу, сердце отбивает в горле чей-то чужой, панический ритм. Он вжался в укрытие и просидел так дольше, чем следовало, ожидая волны — той самой, которой его учили бояться с рождения, беззвучной смерти, накатывающей через землю.

Волна не пришла.

Когда он всё же выглянул, силуэты оказались собаками. Тощими, одичавшими, деловито разрывающими что-то в куче тряпья — самое обычное, самое неопасное для человека занятие на свете. Одна подняла морду, посмотрела в его сторону долгую секунду и вернулась к своему делу, не сочтя его достойным внимания.

Эхо остался сидеть на корточках ещё немного, чувствуя, как унижение проступает горячей волной под кожей — не от страха, а от того, каким чужим и слепым он себе показался за эти несколько минут. Внутри Хора он умел различать угрозу по дрожи стен с закрытыми глазами. Здесь он чуть не умер от разрыва сердца из-за трёх голодных дворняг.

Это был первый настоящий урок снаружи, и он не имел отношения к монстрам. Он имел отношение к тому, что всё, чему его учили считать инстинктом, было просто навыком — узким, привязанным к определённому полу под определённым потолком. А здесь пола не было. Был только он сам, безоружный против собственной неопытности.

* * *

Стемнело быстрее, чем он рассчитывал — ещё один навык, которого у него не было: снаружи не звонил вечерний вибросигнал, отмечающий переход дня в ночь, и сумерки подступили незаметно, как и многое в этом мире, а не по расписанию. Эхо шёл вдоль полуразрушенного шоссе, огибая провалы асфальта, и именно спешка его подвела.

Нога ушла в выбоину, скрытую сухой листвой, и вывернулась резко, до хруста в щиколотке, который он не услышал, но почувствовал — острая, разлившаяся по всей ступне волна, от которой потемнело в глазах. Он упал на одно колено, вцепившись в край асфальта, и первую

секунду не понимал, что произошло: тело так привыкло доверять подошвам, что не сразу осознало предательство самих подошв.

Дело было не в неосторожности. Он стянул ботинок трясущимися пальцами и осмотрел его в скудном свете — тонкая, почти бумажная подмётка, специально выделанная такой, чтобы адепт чувствовал каждую дрожь пола Хора сквозь кожу стопы. Внутри общины это было преимуществом, вторыми глазами. Здесь, на битом камне и ржавой арматуре, та же тонкая подошва не держала ни удара, ни опоры — она была создана слушать землю, а не защищать от неё.

Он затащил шнуровку ту же, стиснул зубы и заставил себя подняться. Идти теперь получалось только неровным, кренящимся шагом, перенося вес на внешний край ступни. Каждые несколько метров он останавливался, прижимал ладонь к ноге и ждал, пока пульсация немного отступит.

Именно в одну из таких остановок он увидел человека.

Силуэт стоял на другой стороне разрушенного перекрёстка — мужчина, судя по очертаниям, немолодой, тащивший на спине тук тряпья или добычи. Эхо замер, не дыша, и на секунду в нём вспыхнуло что-то похожее на облегчение: не один. Он поднял руку — не жест, простое движение, — и человек его заметил.

Заметил и застыл на месте ровно на столько, сколько нужно, чтобы оценить чужую фигуру в одеянии Хора, испачканном, но узнаваемом. Потом развернулся и ушёл в переулок между двумя обрушенными фасадами, быстро, не оглядываясь, тем шагом, каким уходят не от опасности, а от лишних вопросов.

Эхо опустил руку. Никакого жеста в ответ, никакого знака — ни один из выученных им с детства символов не понадобился, потому что ответом было само отсутствие ответа. Здесь никто не спешил навстречу. Здесь чужая беда была чужой в самом буквальном смысле, и одежда Культа на его плечах говорила встречному быстрее и яснее любого языка: держись подальше.

Он остался один на перекрёстке, в темноте, с ногой, распухавшей внутри тесного ботинка.

* * *

Ночь он встретил в неглубокой нише между двумя рухнувшими бетонными плитами — не укрытие, а просто щель, куда можно было втиснуться и не торчать силуэтом на фоне неба. Нога пульсировала в такт крови, распухшая настолько, что ботинок пришлось ослабить до предела.

Он попробовал позвать.

Не голосом — рукой, костяшками пальцев по обломку арматуры, тем самым ритмом, которым в Хоре звали на помощь или отмечали своё присутствие в темноте. Три коротких удара, пауза, два длинных. Он послал этот узор в бетон снова и снова, ожидая привычного отклика — дрожи в ответ, которая означала бы, что кто-то услышал через собственные ладони, приложенные к полу или стене.

Ответа не было. Не потому, что никто не слушал — а потому, что здесь никто не умел слушать так. Вибро-код имел смысл только внутри сети специально подготовленных полов и стен Хора, среди людей, обученных читать его собственным телом. Здесь, в обычном мёртвом бетоне, его сигнал уходил в никуда, гас в трещинах и арматуре, не долетая ни до чьих костей.

Он прекратил стучать где-то на середине очередной серии, не из-за боли в костяшках, а потому что впервые по-настоящему понял: тишина, в которую он попал, была не той тишиной, что царила дома. Дома тишина была языком — насыщенным, полным смысла для тех, кто умел её читать. Здесь тишина была просто пустотой. Никто не придёт, даже если он просигналит правильно. Здесь никто не знает языка, на котором он умеет говорить лучше всего.

Он подтянул колени к груди, стараясь не потревожить распухшую ногу, и обхватил себя руками — не за теплом, тепла хватало, — а потому что больше обнять было некому. Одежда Хора всё ещё была на нём: тёмная, тяжёлая ткань, скроенная так, чтобы её обладателя узнавали свои с одного взгляда. Сегодня она сослужила ему только одну службу — прогнала единственного человека, встреченного за целый день.

Он лежал в щели между бетонными плитами один, раненый, без карты, без плана и без единого способа дать знать миру, что он всё ещё здесь. Впервые в жизни рядом не было ни наставника, ни общины, ни голоса свыше — только собственное дыхание, которое он тоже не слышал, и медленно гаснущая последняя мысль перед сном: назад дороги нет, а вперёд — некуда идти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.